



Танейкина заводь



ФАНТАСТИКА

Наталья Чернышева

Солнце плавит воздух, и тот стекает горячими каплями по лбу, спине, бокам. Над камышами снуют маленькие вертолетики стрекоз, а в неподвижной воде стоят большие темные тела древних карпов и щук. У самого берега, под молоденькими ивами, вольготно плавают широкие листья. Это кувшинки. Ишь, выставили наверх желтые бутоны, оглядываются, прикидывают, когда можно будет распуститься совсем.

Все, все вокруг знакомо до боли, до спазмов в горле, до рези в глазах. Сентиментальность — похвальна, но хороша она в меру...

Да, я — сторонник золотой середины. Тьма без меры — пожирает душу, но и свет без должной меры способен выжечь дотла!

Танейка сидит рядом, обхватив ободранные коленки тощими, исцарапанными ручонками. Маленькая, взъерошенная, больше всего она смахивает на сердитого вороненка, застывшего в непогоду на проводах.

— Зачем ты вернулась, Ольгуня? — не поднимая головы, спрашивает Танейка. — Зачем? Почему ты?

— Не знаю. — Я не тороплюсь отвечать, ищу нужные слова, но слова не находятся и потому говорю как есть:

— Не знаю, Таня. Вернулась, и все.

— Не надо было.

— Да уж, — вздыхаю. — Действительно, было не надо...

Она вскидывает голову, и я вижу на ее пыльных щеках дорожки от слез. Но глаза у Танейки сейчас сухие, карие. По всему видать, плакала она очень давно и с тех пор не удосужилась умыться.

— А помнишь, — говорю, — как мы плавали наперегонки во-он до того острова?

— Ага, — оживляется она. — Чемпиону — крапива и пиявки. Там-от их дофига и больше!

— А ты знала и потому держалась позади, как тебя ни дразнили, — усмехаюсь я. — Я потом только поняла, что ты знала. А Сашка обзывался и насмешничал. Орал, что первый. Затем просто орал.

— А потом мы снимали с него пиявок и бросали их в воду, — подхватывает Танейка. — А потом он весь чесался! А потом случился вечер и налетели комары! А потом...

Тут она замолкает, ежится, обхватывает себя руками за плечи, ей неприятно, она не хочет вспоминать. Но я очень хорошо вижу тот, давний, вечер. Сиреневые сумерки и алую зарю, бросавшую на воду багровые блики. Знойный комариный звон, терпкие запахи трав, ивы, полоскавшие ветви у нас под ногами, долгий крик ласточек, гонявших молодняк...

— Потом Сашка решил наловить рыбы и испечь ее на костре, — задумчиво продолжаю я. — Все были голодные, а дым от костра отогнал бы комаров. Но ты устроила такую истерику!

Танейка утыкается носом себе в коленки. Жаль ее, если честно. Очень жаль. Несмотря ни на что.

— Здесь все живое, — шепчет она тихо-тихо. — Нельзя жечь. И рыбу убивать нельзя тоже.

— И бабочку, — киваю я.

— И бабочку, — сухим шепотом отзывается Танейка.

Она смотрит на солнечный огонь, разлитый по воде, и говорит еще тише, я наклоняюсь, чтобы услышать:

— Скоро закат...

До заката еще очень далеко, но я киваю. Скоро закат, а после заката придет ночь. Вот ночью мне... Но об этом пока лучше не думать.

— Ольгунька, — жалобно говорит Танейка, — а давай сплываем к острову? Как раньше, а? Туда и обратно. Жарко же, печет.

— Не, — отказываюсь. — Я лучше тут посижу. Пусть печет. Давно загореть хотела...

Танейка шмыгает носом, но молчит. Ага, не на ту напала! В движении время пролетает быстрее. Оглянуться не успеешь, и вот он, закат, тут как тут. Мне закат сейчас не нужен совсем. Танейке, может, не нужен тоже, но она привыкла, наверное. Сколько их было у нее, таких закатов? Если спрошу, она ответит, не будет молчать. Только я не спрошу.

— Тань, — тихо спрашиваю я, — а это больно, а? Больно? Качает головой, смотрит, глаза блестят синевой.

— Ты же заснешь на закате.

— Не засну.

Пожимает плечами. Наверное, каждый ей так говорит. Что не заснет. А сам потом все равно засыпает.

— Тань... отпусти, а? Просто — отпусти.

— Да кто держит-то? — мотает она головой. — Иди...

— Ходила уже! — не выдерживаю. — Полдня на твое болото убила! Ты же сама все тропинки запутала!

— Не путала я ничего, — сердится она. — Не умею я путать. Каб умела, тебя бы здесь не было. Я же видела, что идешь.

— Как... видела?

Молчит. А что тут скажешь?

Не возвращайтесь в памятные места, в места своего детства! Никогда не возвращайтесь обратно. В лучшем случае огребете ком разочарования и боли: родная, любимая, волшебная улица окажется унылым, загаженным переулком без асфальта, с безнадежными колдобинами посередине и пыльными бродячими псами самого что ни на есть лишайного вида. А в худшем...

В худшем случае вам под ноги ляжет тропинка. И уведет на знакомый с младенчества пруд (озеро, речку, заводь, болото — не важно). Окунет с головой в терпкую воду былого счастья. И обратно уже не выпустит, как ты ни бейся.



ФАНТАСТИКА

Как мы бегали сюда без передышки! Все лето! Танейка не была заводилой в нашей компании, верховодили оторва Сашка и пацанка Валюха. Валюха отчаянная была. На тарзанке такое вытворяла... вон она, та тарзанка. Там под ней та-акая глубина. Лично я туда лезть трусила страшно. И Танейка тоже только с берега смотрела. Где они теперь, Сашка и Валя? Поженились? Разъехались?

— Валя из города ребенка привезла, нянчит теперь, — тихо поясняет Танейка. — Сашка... сидит.

— Как сидит?

— Так. Убил кого-то по пьяни, говорят...

Убил по пьяни. Да. А какой был! Плечи в разворот, кудри, глаза с той самой безбашенной искринкой, которая нравится девчонкам. На гитаре играл, ах, как он играл на гитаре! И песни сам сочинял. Звался поэтом... Убил по пьяни.

— А ты-то, Ольгуня, как была? — вдруг спрашивает Танейка.

— Да никак... как все... нечего рассказать. Училась, работаю теперь. Мимо ехала, дай, думаю, загляну, проведу...

Проведала. Так проведала, что хоть топись. Реально утопиться, что ли?

Солнце плавит воду, бьет в глаза слепящими бликами. Нет, не утоплюсь. Уже вечереет. Уже все, уже я, пожалуй, больше не встану...

— Тань... а как...

Не договариваю, сжимает спазмом горло. Но Танейка понимает вопрос.

— На закате ты уснешь, — отвечает она рассеянно. — И я поцелую тебя. Вот сюда, — показывает пальцем на свой лоб. В этом месте, некстати вспомнилось, индийские женщины ставят себе точку...

— И все? — удивляюсь.

— И все, — печально и строго подтверждает Танейка.

Мы сидим какое-то время молча, каждая думает о своем.. Потом она начинает вдруг рассказывать, тусклым тихим голосом:

— Раньше ватаги были большие. Раньше возвращались по двое, по трое, иной раз и по четверо, смотря по тому, какой год. Теперь — уже давно — приходит только один. Не самый лучший, не самый худший, а никакой.

— О как, — говорю. — Я, значит, никакая...

— Ты очень даже какая, Ольгуня! — воскликнула Танейка. — Не знаю я, почему ты! Не знаю! Я на Вешку думала! По всему выходило, Вешка прийти должна! А пришла ты.

Вешка — Вероника — и впрямь никакейная была. Ни рыба ни мясо, ни нашим ни вашим. Таскалась за нами, что репей за хвостом собачьим. Мы ее едва замечали.

— Замуж вышла не пойми за кого, — поясняет Танейка. — Тот и увез ее... Далеко, не дозовешься.

— А ты звала. — Я даже не спрашиваю.

Танейка опустила голову, призналась тихо:

— Звала. А услышала, выходит, — ты.

— Тань, а ты кто? — спрашиваю тихонько. — Русалка?

Мотает головой, молчит. Потом кивает на небо:

— Закат...

И то верно, закат. Высокие перья облаков наливаются багровым румянцем. Скоро солнце насовсем нырнет за небоскат. И больше я его уже не увижу...

— Я не сплю, — говорю я поспешно.

Сна нет ни в одном глазу, но страх липнет к телу потной рубашкой, ворочается тяжелым комом в животе, высасывает силы. На редкость неприятное чувство.

— Кикимора я, — говорит вдруг Танейка, она тоже смотрит на небо, и в ее глазах отражаются огненные нити облаков. — Болотная кикимора. С детьми дружу, потому как светлые они. Отдают свой свет не задумываясь, без потерь, им в этом возрасте не страшно... а я греюсь при них. Тьма в них потом входит, когда взрослеть начинают. А к месту моему детством привязываются, сердцем, хорошо им тут летом. Да и зимой, когда сплю, тоже неплохо. Вот... вспоминают потом... иногда... и возвращаются, а у самих души посеревшие, сожженные. Пепел же — лучшее удобрение. Но это уже от человека зависит, что ему достанется. Пепел или... служение.

— Служение?

Кивает, смотрит в сторону. Говорит через силу:

— Тут... тут все живое, Ольгуня. Все.

— Вот почему ты костер не дала тогда развести... — понимаю я. — И рыбу ловить не давала...

Кивает, шмыгает носом. Девчонка-ровесница, о которой мы всегда знали: местная. Живет где-то за лесом. А где, чья, кто родня у нее, как-то никто и не спрашивал. Мало ли таких босоногих тогда в округе бегало? Это сейчас детей в селах немного. А тогда...

Лукавила моя кикимора, ох лукавила! Умела она тропинки путать, так умела, что заводь ее только детям найти удавалось, взрослые же ни сном ни духом. Ни одного рыбака я на берегу не припомню, ни одного охотника!

Потому что те редкие взрослые, что находили-таки дорогу...

...получали ровно все то же самое, что и я.

Сумерки сгущаются постепенно. Редким вечерним туманом над угасающей водой, заунывной песней сверчков, свежим дуновением в лицо... Танейка касается ладошкой моего плеча. Ладошка у нее холодная, влажная. Болотная.

— Я не сплю, — говорю я, вскидывая голову.

— Я знаю, — печально отвечает она. — Я... подожду.

Звезды зажигаются в бледнеющем небе одна за другой. Яркие далекие солнышки. Набрать бы их полные ладони и подарить этой грустной девочке-кикиморе... Да только на что ей холодный звездный свет? Когда есть под рукой живое?

— Я не сплю, Танейка. Я все еще не сплю...

Не сплю, но уже не чувствую мокрую холодную ладошку. Прикосновение скорее угадывается, чем ощущается. Скоро, совсем скоро Танейка поцелует меня.

Кем же я стану, когда проснусь? Пеплом или...